ТЕНИ ИСТИНЫ

«НЕУДОБНЫЙ» МЕМУАР

Предисловие к публикации

Какая неудобная тема – еврейский вопрос. Сколько ни обсуждай, всегда будешь себя переспрашивать: не оскорбил ли кого? всё ли корректно сказано? И каждый раз эти сгустки непонимания будут повисать в воздухе.

Когда за такую тему берётся известный автор, непонятно, чего ожидать. Вот Рюрик Ивнев на склоне лет, в 1977 году, записал небольшой мемуар – «Тени истины». Что заставило поэта поднять еврейский вопрос? Желание сказать то, о чём говорят вполголоса? Запечатлеть дуновение важной мысли для потомков?

Отец Ивнева – Александр Самойлович Ковалёв, русский. Мать – Анна Петровна Принц, из старинного голландского рода. Большую часть детства Ивнев провёл на Кавказе. Поэтому при знакомстве его часто идентифицировали как грузина. Чуть реже – как еврея. Ещё реже – как русского. Поэта всё это волновало мало: он был интернационалист. Но никогда не оставляло удивление: по каким параметрам идёт идентификация?

И если возникала такая путаница, значит, было что-то в его внешности, языке, поведении, манере держаться, что заставляло окружающих сомневаться. В попытке уловить эту невидимую деталь и появились «Тени истины».

Читатели уже знают его автобиографические романы «Богема» и «У подножия Мтацминды», видели отдельные очерки о друзьях, соратниках и великих знакомцах. Но эти мемуары не похожи ни на один из предыдущих текстов. Откровение, на которое так щедр наш герой, здесь зашкаливает. Когда Рюрик Ивнев писал о Михаиле Кузмине или о Николае Клюеве, о Сергее Есенине или о Борисе Пастернаке, мы всегда могли списать эмоциональность и даже чрезмерную открытость на заигрывание с читателем или на эпатаж. Но сейчас, выписывая безымянных и малоизвестных героев, рассуждая о национальном вопросе и о гомосексуальности, автор развеивает все сомнения: откровения –   
настоящие, попытка уловить «тени истины» – живая, непридуманная. Все вопросы, которыми задаётся писатель, его действительно волнуют.

Прежде чем приступить к чтению, стоит сказать ещё пару слов.

Все близкие Рюрика Ивнева, которые всплывают в этих мемуарах, – интереснейшие люди. Филологам ещё только предстоит серьёзная работа с фамильным древом. Обязательно будет разбор рукописей и фотоснимков. На старых карточках будут проявляться люди, годы, жизни. Но уже сейчас можно «проявить» одного исторического персонажа – Георгия Самойловича Ковалёва.

В «Тенях истины» и дневниках он почему-то зовётся Евгением. Описка? Аберрация памяти? Неважно, ибо исторический персонаж всё равно опознаётся.   
Ивнев нам немного рассказывает о нём сам: «Дядя Жорж был на посту елизаветпольского губернатора. До этого он служил тифлисским полицмейстером, а после покушения на его жизнь эсера Херхеульда вице-губернатором Эриванской губернии. На этой должности пребывал не больше года и был назначен губернатором Елизаветпольской губернии».

В изложении Рюрика Александровича биография получается скомканной. Может, он больше ничего не знал о профессиональной деятельности своего дяди. Должен был знать: всё-таки часто гостил в его резиденции в Аджикенте. Может, не интересовался: ну, губернатор и губернатор. Однако не стоит забывать, что Георгий Ковалёв служил на Кавказе, буквально в «горячих точках» и, так или иначе, был завязан в одном из витков конфликта за Нагорный Карабах.

Начинал он как коллежский асессор и полицмейстер Тифлиса. На такую серьёзную должность попал прямо со студенческой скамьи. Всё как и полагается молодому дворянину. Видимо, был интернационалистом, как и племянник, отчего частенько не замечал разгоравшихся конфликтов на национальной почве. Ивнев пишет про «Херхеульда». Любое покушение 1900-х годов можно, конечно, списать на эсеров. Но фамилия этого террориста наводит на более серьёзные мысли. Херхелуидзе – древний грузинский княжеский род. Здесь стоит скорее говорить о национальном вопросе: стал бы без особых причин член княжеского дома террористом? Вряд ли.

С 1906 года Георгий Ковалёв уже губернатор Эриванской губернии. На следующий год он становится надворным советником. Ещё через год – статским советником. Тогда же получает должность губернатора Елизаветпольской губернии. Это земли современного Азербайджана. Население состояло преимущественно из азербайджанцев и армян.

Генерал В.Н. Голощапов, предыдущий губернатор Елизаветпольской губернии, 8 ноября 1906 года был смертельно ранен в результате покушения в Тифлисе. Снова разгорелся национальный вопрос. Покушение было осуществлено шушинскими террористами[[1]](#footnote-1). Историки пишут: «Исполнить теракт подучили жителя села Гюлаблы Гюси Али-оглы, которому объяснили, что генерал Голощапов принес много зла татарам и долг каждого соотечественника –   
отомстить за смерть братьев»[[2]](#footnote-2).

Место генерала и занял Георгий Ковалёв. Зная, на что способны азербайджанцы, он стал активно содействовать армянам. Но так, чтобы «с большой земли» не разглядели этих действий. Однако сохранилось письмо П.А. Столыпина к графу И.И. Воронцову-Дашкову (от 11 апреля 1908 г.)[[3]](#footnote-3), из которого становится ясно, что всё-таки губернаторское «бездействие» было замечено:

«В Елисаветпольской губернии заслуживает быть отмеченной деятельность тайного сообщества Дашнакцутюн[[4]](#footnote-4), которое подчинило себе большую часть армянского населения. Успеху Дашнакцутюна содействовало, однако, и то обстоятельство, что в январе и феврале 1907 г. правое крыло партии в Елисаветполе приняло на себя полицейские функции, захватывая злоумышленников и охраняя вместо законной полиции мирное население от грабежей и разбоев. Это явление имело место также и в др[угих] городах. В результате в апреле 1907 г. в г. Елисаветполе комитет Дашнакцутюна фактически владел судебной и административной властью над армянами и, собрав под предлогом борьбы с татарами значительные денежные средства, скупал оружие, оборудовал свои мастерские и лаборатории для приготовления бомб, завел свои тюрьмы и применял лишение свободы и денежные взыскания к тем, кто, минуя “комитет”, обращался к содействию полиции и суда. Для прекращения этого деспотизма Дашнакцутюна и для восстановления законного порядка летом 1907 г. были предприняты аресты наиболее активных деятелей сообщества. Однако ликвидация оказалась безуспешной, так как дело это было передано в неумелые руки и.д. губернатора, надворного советника Ковалёва, который, приняв на себя это серьезное поручение, не обнаружил самой элементарной осмотрительности и предварительно оповестил циркулярно о готовящихся следственных действиях всех уездных начальников, зная о ненадежности наличного состава уездной полиции. В результате планы и.д. губернатора стали известны членам Дашнакцутюна, которые и получили возможность скрыть следы своей преступной деятельности, а произведенные обыски у 120 менее серьёзных дашнакцаканов дали основание для привлечения только 21 лица. Имеются при этом указания, что безуспешности обысков отчасти содействовал и сам и.д. губернатора, неосновательно освободив от обыска 12 намеченных жандармским надзором видных деятелей Дашнакцутюна. Результатом этих неудачных действий было несомненное усиление Дашнакцутюна».

При «попустительстве» Георгия Ковалёва армянский «Дашнакцутюн» ликвидировал азербайджанский «Дифаи»[[5]](#footnote-5), после чего выступления мусульман прекратились. Однако губернатор докладывал, что у исламского населения наб-  
людается крепнущее с каждым днём единение. И в качестве примера приводил татар и азербайджанцев, которые во время разгоравшейся итало-турецкой войны активно собирали деньги для турецкой армии.

Что и говорить, Георгий Самойлович на редкость занимательный человек. И таких людей в «Тенях истины» – десятки. Придёт время, и «проявятся» остальные. А следом – и фигура самого Рюрика Ивнева изменится кардинально.

Пока же обратимся к тексту, который нам предоставил правопреемник Рюрика Александровича – Николай Петрович Леонтьев.

*Олег ДЕМИДОВ*

*Дмитрий ЛАРИОНОВ*

Прежде чем приступить к своей «Исповеди», отличающейся от исповеди Жан-Жака Руссо и других, хочу отметить, что писалась она через 80 лет после описываемых событий. Мне сейчас, когда я пишу эти строки, почти 86 лет. Тень истины мелькала предо мной. И я решил записать подробно эпизоды, связанные с её появлением. Давнишние события я помню лучше. Но память капризна…

Мать рассказала мне, когда я был юношей, что мне было не больше года, я заболел воспалением лёгких, и один из врачей посоветовал немедленно вывезти меня из Тифлиса во Владикавказ. Родители немедленно последовали его совету. И вот мы в дороге. Ехали на перекладных, как и все пассажиры в ту пору. Экипаж был закрытый. Днем я дремал, а когда наступила ночь и стало темно, начал реветь. Меня пугала темнота. Отец стал зажигать спички. Пока они горели, я переставал плакать; как только они гасли, я вновь ревел. Так продолжалось некоторое время. Я это запомнил очень хорошо и особенно ясно – глаза отца, его бороду, руки, зажигавшие спички, и пуговицы на его кителе.

Когда я рассказывал об этом позже, мне не верили. Почти все говорили, что я запомнил рассказ матери об этой поездке, представил картину езды в темноте и сам нарисовал себе эту картину. Но я это запомнил на всю жизнь. Даже теперь, когда я закрываю глаза, вижу ясно глаза отца, его бороду и огонь спичек.

Я приступаю к описанию эпизодов, когда тени истины, проносились мимо моих глаз. Но тени бывают разные. Одни – еле видимы, другие – слегка заметны, третьи – бросаются в глаза.

Родился я в Тифлисе 11 февраля 1891 года (по старому стилю).

В 1878 году мой отец[[6]](#footnote-6) закончил Военно-юридическую академию в Петербурге и получил первую должность в Москве, вторую – в Ашхабаде, третью – в Тифлисе. Здесь была последняя его должность. Из Карса, куда он поехал в служебную командировку, живым он уже не вернулся. Мать моя оставила старшего брата Николая и меня у бабушки, Ольги Афанасьевны, жившей тогда в Тифлисе, и поехала в Карс в сопровождении дяди Жоржа, брата отца, хоронить мужа.

В 1894 году я ездил с мамой и братом Николаем в Варшаву и прожил там год. Потом жил с мамой в Карсе. В 1897 году меня отвезла в Варшаву тётя Оля. В 1898 году меня забрали в Тифлис к бабушке, жившей с дядей Жоржем, который в это время не был ещё женат. Мой дядя Жорж удивил весь Тифлис тем, что согласился на предложение наместника Кавказа сменить должность следователя на должность полицмейстера. Обычно на неё назначали умелого пристава без высшего образования. Дядя Жорж был первым полицмейстером с университетским значком.

Как-то раз я сидел с бабушкой Евгенией Афанасьевной в гостиной и раскладывал карты, какие-то книги, когда вдруг услышал доносящийся из кабинета сердитый голос дяди Жоржа. Я удивился: он был очень корректен и никогда ни на кого не кричал. Мы с бабушкой услышали его громкий голос. Он бранил одного из приставов, который принёс ему служебные бумаги:

– Какой болван дал вам это? Полюбуйтесь, что здесь написано: «Его Высокородию Евгению Самуиловичу Ковалёву» вместо Евгению Самойловичу. Если это повторится, выставлю вместе с бумагами и его подателя.

Я затаил дыхание: таких сцен никогда ещё не было, и спросил бабушку:

– Почему дядя Жорж сердится?

Бабушка растерялась и ничего не ответила.

На мой второй вопрос натянуто улыбнулась и сказала:

– Кому приятно, когда его имя коверкают?

– Но ведь имя дяди Жоржа не искажено.

Бабушка возразила:

– Но исковеркано отчество. Тебе было бы приятно, если бы тебя вместо Миши кто-нибудь назвал Васей?

Тогда я не понял, почему дядя Жорж сердится. Об этом узнал позднее, и это тоже еле видимая тень истины.

После неожиданной смерти отца в 1894 г. моя мать, оставшись с двумя детьми, мной и старшим братом Николаем, решила заниматься педагогической деятельностью, поскольку хорошо знала французский и немецкий языки, а также математику.

Родители моей мамы жили в то время в Варшаве. Дед командовал казачьей сводной бригадой. Он был женат на 17-летней украинке, которую «похитил» у её родителей, будучи в чине поручика. У них было   
6 дочерей: Евгения, Наталья, Ольга, Ксения, Тамара, Татьяна и сын Николай, который в то время находился в Пажеском корпусе в Петербурге. Старшая Евгения, вышла замуж за инженера-мостостроителя Артура Федоровича Циммермана, эмигрировавшего из Германии в Россию и оставшегося в ней навсегда. Натали была замужем за членом окружного суда в Тамбове. Ольга, Ксения, Тамара и Татьяна были на выданье и жили в Варшаве. После смерти отца родители матери сразу пригласили её приехать к ним. Мать привезла со мной и старшего моего брата Николая. Мы приехали к ним погостить. Дедушка, бабушка и мои тёти меня очень полюбили и просили её оставить меня у них на год, пока она устроится на работу, отец умер в чине штабс-капитана, и пенсия у мамы была маленькая – 23 р. в месяц. Месяца через два мама и Коля уехали в Тифлис, а я остался в Варшаве. Зная, что я ни за что не расстался бы с мамой, они пошли на хитрость, сказали, что мама поехала на дачу и завтра вернётся. Я заплакал, а когда она и завтра не вернулась, поднял такой рёв, что все перепугались, но пришла телеграмма от мамы, мне прочли её, и я немного успокоился, а потом начал привыкать, так как в семействе дедушки и бабушки был всеобщим любимцем.

Через некоторое время пришло письмо из Гомеля, где жила семья Циммерман, от Артура Федоровича, что тётя Женя опасно больна, и бабушка решила туда поехать. Я попросил её взять меня с собой. Дедушка разрешил, и мы тронулись в путь.

Поездку в Гомель в 1895 году я помню смутно. Вероятно, мы остановились в квартире Циммерман. А тётя Женя лежала в больнице. Запомнился большой или казавшийся большим коридор, белые халаты врачей. В ту пору, как я слышал по разговорам, в этом городе почти всё население было еврейское. Помню хорошо, что наш приезд совпал с еврейской Пасхой. Почти все посетители принесли мацу. Я никогда её не видел, и она меня заинтересовала. Кто-то из них дал её мне попробовать. Мне так понравилось, что я захотел ещё. Бабушку Евгению Ивановну это забавляло, и она попросила какую-то женщину, которая держала в руках большой пакет с мацой, чтобы она отломила её для меня. Та охотно согласилась. Я грыз мацу, насколько мне позволяли четырехлетние зубки. Кто-то из находящихся в коридоре обратил на это внимание и спросил бабушку:

– Это ваш сын?

– Нет, – ответила она, – это мой внук.

– Он еврей?

Бабушка ответила слегка иронически:

– Насколько мне известно, ребёнок – русский.

Я слушал, смутно понимая, в чём дело. В больнице я был впервые, и мне было всё интересно. И этот длинный коридор, и множество дверей, выкрашенных в белую краску, и незнакомые люди, и то, как некоторые из них пытались остановить проходящих по коридору врачей, чтобы что-то спросить. Это меня забавляло, и общую картину гомельской больницы я запомнил хорошо. Как ни странно, но запомнил и одну фразу, которую услышал в то время, когда просил бабушку дать мне ещё кусочек сухаря, как я назвал мацу. Кто-то, видя малыша, уплетавшего с явным удовольствием, заметил: «Еврейская кровь сказалась». Смысл этой фразы я понял только через несколько лет, эту еле видимую тень истины, а тогда о ней просто забыл.

Через год, в 1895 году, мама приехала за мной и привезла меня в Карс, в котором продолжала свою педагогическую деятельность, получив должность начальницы Мариинского женского училища. В нём учились девочки разных национальностей. Русских было приблизительно 25%, грузинок 3%, остальные армянки, гречанки, татарки и молоканки. Молокане говорили по-русски, но их секта не признавала православие, и жили они замкнуто.

Моя мать была интернационалисткой и благодаря одинаковому отношению ко всем пользовалась любовью как учениц, так и их родителей. И мне привила его с детства. Сестра матери Ольга Петровна покинула Варшаву и приняла предложение стать классной дамой в Институте благородных девиц в Тифлисе. В 1897 году, летом, пользуясь каникулами, она попросила маму отпустить меня с ней в Варшаву навестить дедушку и бабушку. Мне этого хотелось, и мама согласилась. И вот я еду туда уже 7-летним мальчиком. Тётя Оля решила «показать мне море», и мы направились в Варшаву кружным путём: Батум, Одесса, а там по железной дороге. Бабушка, дедушка, тёти (Тамара, Ксения и Таня) встретили меня радушно. Квартира была там же, на Маршалковской улице, но в ней жил мой двоюродный брат, сын тёти Жени, Петя Циммерман. Родители его проживали в Гомеле, но прислали сына в Варшаву закончить какое-то техническое училище, которого там не было.

И вот однажды, за обедом, на котором присутствовала семья Принц и кто-то из посторонних, произошёл такой эпизод. Петя куда-то торопился и ел очень быстро. В конце обеда вдруг издал «неприличный» звук, который в детстве мы называли «пукой». Все сделали вид, будто не слышали, а я был в весёлом настроении и громогласно заявил: «Петя пукнул». Он метнул на меня сердитый взгляд, но ничего не сказал. Когда кончился обед, я, проходя мимо него, услышал, как он злобно прошипел: «Жидёнок паршивый». Я не понял этого слова и немного погодя вошёл в комнату тётушек и спросил: «Что значит жидёнок?» Тётушки удивлённо переглянулись. Тётя Таня поинтересовалась: «Откуда ты взял это слово?» Я ответил: «Когда я проходил мимо Пети он сказал: «У, паршивый жидёнок». Тётушки опять переглянулись. Наиболее находчивая, тётя Ксения ответила: «Ты не расслышал. Он сказал тебе “паршивый ребёнок!” Это за то, что ты его осрамил. Это ты нехорошо сделал. Вот он и рассердился на тебя». Я оправдался тем, что у меня невольно вырвалось слово «пуки». Тётушки улыбнулись, и на этом эпизод, как будто еле заметный, закончился.

После занятий в пансионате сестер Тизенгаузен, готовивших детей для учёбы в средних учебных заведениях, я поступил в Тифлисский кадетский корпус, вернее, меня отдали на ученье как сына военнослужащего бесплатно. В гимназии и реальном училище взимали плату, а у моей матери не было в те годы таких средств. Они появились в 1908 году, когда она стала начальницей Маринского училища, и после окончания корпуса дали мне возможность поступить не в юнкерское училище, а в университет.

1906 г. Тифлис. Я в 5-м классе кадетского корпуса. Хотя прошло   
70 лет, я хорошо помню кадетов, с которыми был дружен. И с которыми нет. Но таких было мало. В нашем классе были юноши, судьбы которых связаны с историческими событиями.

Это мой друг детства и юности – Павлик (Павел Андреевич Павлов), ставший трижды героем Гражданской войны 1918–1921 годов. Андрей Двораковский жив и поныне и занимает пост нашего посла в Болгарии. Андроников (забыл имя) стал адъютантом великого князя, известным авантюристом и другом Распутина. Поляк Феликс Липпоман, уехал в Америку и сделался знаменитым радиокомментатором.

А вот эпизод, связанный со временем моего обучения в корпусе. В нашем классе учился кадет Фенстер. Он был сыном крупного военного врача в чине действительного статского советника, еврея по нацио-  
нальности, крестившегося для поступления в Военно-медицинскую академию (некрещеных евреев не принимали на военную службу). Враги обвинили его в том, что он якобы допустил какую-то ошибку в диагнозе, и причинили много неприятностей, прежде чем сумел доказать правоту. Эта история подействовала на него так сильно, что из Крыма он переехал на Кавказ вместе с семьёй, а так как он одно-  
временно с медициной изучал и бухгалтерию, то в Тифлисе уже не врачевал, а служил бухгалтером в частном банке. Как потом я узнал, он был большим другом и покровителем фельдшера Меллера, который по его совету поступил в университет на медицинский факультет, блистательно закончил его и сделался одним из крупнейших врачей   
Крыма.

У нас в корпусе «национального вопроса» не существовало. Здесь учились русские, грузины, армяне, татары, обрусевшие немцы и поляки. И раз в неделю священник давал урок Закона Божьего. На нём иноверцы не присутствовали, к ним приходило духовное лицо других конфессий: ксендз, патер, мулла. В нашем классе учился еврей Фенстор, который выдавал себя за немца. Это и послужило поводом для насмешек над ним, правда, редких и умеренных. Если бы он сказал, что он еврей, на это не обратили бы внимания, как не обращали внимания на представителей других национальностей.

Однажды он с кем-то поссорился, и этот кадет (насколько мне помнится, обрусевший татарин Векилов) назвал его «жидёнком». Через несколько дней Векилов подошёл ко мне (с ним у меня были хорошие отношения) и сказал:

– Ковалёв, как тебе не стыдно. Почему ты скрывал от меня, что ты еврей? Ведь ты знаешь, что я сам татарин и для меня всё равно, кто со мной дружит – русский, еврей или немец. Фенстера я потому назвал «жидёнком», что он морочил всем голову. Сказал бы прямо, что он еврей, и никто бы его не дразнил.

Я слушал его и не понимал, почему он решил, что я еврей да ещё и скрываю это, и спросил, с чего он это взял?

Векилов ответил:

– Ты только не говори Фенстеру, что я выдал его. Он сказал: «Почему вы дразните меня, что я еврей, а Ковалёва не дразните?»

Я ответил Векилову, что спрошу Фенстера, откуда он взял это.

– Не надо, – ответил Векилов, – я сам его спросил. И он мне ответил, что его папа был дружен с доктором Меллером, отца которого он застал в живых. Тот был фельдшер, и он вылечил супругу генерал-губернатора от какой-то болезни, от которой её не могли вылечить знаменитые доктора, а потому стал своим в его доме. У Самуила Меллера было три сына: Николай, Александр и Михаил, который родился слабым и вскоре умер. Александр – принял православие и женился на дочери генерала, но вскоре умер. Вот он якобы и есть твой отец.

На другой день я всё же спросил Фенстера, правда ли то, что мне рассказал Векилов?

– Прошу тебя, забудь об этом. Если мой отец узнает, я буду сильно наказан. Папа, когда сердится, может поколотить.

– Так кто я, по-твоему, русский или еврей?

– Раз ты Ковалёв, значит русский.

– Зачем же ты говоришь Векилову, что я еврей? Ты же знаешь, что для меня это значения не имеет.

Фенстер был сильно напуган, что отец узнает о его болтовне, он обнял меня, поцеловал и сказал, вдруг заплакав:

– Мы с тобой оба несчастны. Забудь об этом. Я тебе даю честное слово, что я всё напутал.

И мы разошлись, но вдруг он догнал меня и сказал:

– Ковалёв, бабушке своей не говори об этом.

Один из кадетов нашего класса Климантов был очень дружен с Фенстером и в очень хороших отношениях со мной. Однажды он сказал:

– Я очень люблю Фенстера и выведал, почему он скрывал, что он еврей. Он объяснил это тем, что его отец был врачом в Крыму и пострадал. В 1881 году после убийства Александра II (волна погромов прокатилась по России) антисемиты обвинили его в том, что он поставил неправильный диагноз. И хотя суд его оправдал, на него это очень подействовало. Своих сыновей он просил забыть, что они евреи, если хотят, чтобы с ними ничего не случилось.

В другой раз Климантов сообщил, что Фенстер узнал от отца, что один из кадетов нашего класса не знает, что он еврей. Я не поинтересовался кто это, так как с молоком матери впитал в себя интернационализм.

Как ни путано говорил Фенстер о том, что рассказал ему отец, и как это ни казалось мне нелепостью, я всё же рассказал о том бабушке. Она слушала внимательно и вдруг попросила, чтобы я пригласил его к нам. Фенстер охотно согласился и явился с подарками, в числе которых были конфеты и бижутерия. Он разыгрывал столичного франта. На бабушку произвёл отталкивающее впечатление, и сближение наше не состоялось, но в корпусе мы общались.

Бабушка, очевидно, рассказала об этом дяде Жоржу, и спустя некоторое время он спросил меня:

– Ты дружишь с кадетом Фенстером?

Я ответил, что до дружбы далеко, но мы не ссоримся и разговариваем о корпусных делах.

Дядя засмеялся:

– Нечего приглашать его к нам.

– Бабушка просила позвать его, но он ей не понравился. В корпусе он держит приличия, а к нам пришёл с бижутерией, по-моему, это неприлично.

Вскоре у Фенстера вышла неприятная история. Его обвинили в воровстве книг у одного из кадетов. Доказать это кадет не смог, но судя по тому, что он не был наказан, все поняли, что Фенстер виноват. Он «заболел» и некоторое время не ходил на занятия. Об этом никто не вспоминал, но с ним не сближались. Он был «приходящий», а не живущий и не «страдал» от этого. Пошли слухи, что отец его выпорол, но и это не вызвало у кадетов сожаления. Через некоторое время отец взял его из корпуса и определил в гимназию, и о нём забыли. Когда голодный человек тайно уносит из булочной хлеб, это называется воровство. Когда сытый крадёт чужие вещи, это тоже воровство. Но есть такая болезнь клептомания, когда честный человек не может удержаться от воровства, как алкоголик от водки. Ему советуют обратиться к врачу. Если лечат от алкоголизма, то, вероятно, могут вылечить и от клептомании. Может, это относится к Фенстеру?

В Кадетском корпусе, как я уже упоминал, я подружился с Павликом Павловым, он представил меня родителям. Познакомилась с ними и моя мать. Летом 1906 года мама разрешила мне поехать с Павликом и его отцом Андреем Павловичем Павловым в большое путешествие по маршруту Тифлис – Москва – Ярославль. И по Волге на пароходе до Казани, а потом по Каме до какого-то города, название которого не помню, по узкоколейной железной дороге до Архангельска, а от него по Белому морю до Соловецкого монастыря. Обратный путь: Архангельск –   
Симферополь. Там меня должен был встречать брат моего покойного отца дядя Петя (Пётр Самойлович Ковалёв). Павлик с отцом должен был ехать в Новый Мисхор, на дачу Хотяинцевых. Отец Павлика был женат вторым браком на одной из сестёр Хотяинцевых.

Отец Павлика был военным, в чине генерал-майора, поэтому мы ездили и в поезде, и на пароходе в I классе. В один из вечеров Павлик плохо себя почувствовал и лёг спать раньше обычного. Расположился он в двухместной каюте с отцом, а я в одноместной каюте. Ночь была тёплая, и я долго сидел на палубе, на корме, и любовался каскадом волн. Ко мне подошёл какой-то человек среднего возраста, приятной наружности и заговорил. Я не удивился, пассажиры часто знакомились друг с другом. Поговорили о «красотах природы». Вдруг спросил:

– Простите за нескромный вопрос: ваш отец крещеный еврей?

Я был удивлён и сказал:

– Мой отец давно умер, – а генерал Павлов отец моего друга.

– Простите, – сказал, смущаясь, незнакомец. – Я еврей и принимаю всех за евреев.

– Я, Павлик и мои родные не придаём значения национальности.

Он улыбнулся и сказал:

– Бывает, что ты сам не знаешь, какой ты национальности.

Я ответил, что люблю все национальности одинаково, но что родился русским. На этом наш разговор закончился.

Павлику как другу я всё рассказал, и он хохотал:

– Меня тоже иногда принимают за еврея, но я интернационалист.

Одним из самых близких мне друзей по Петербургскому университету был украинец Юрий Ясницкий. Мы познакомились в зале жё-де-пом (игра в мяч). Там были первые литературные кружки, которые в 1906 году посещал Александр Блок, а позже Сергей Городецкий. Интересы наши совпадали. Мы не входили ни в какие партии.

Мы познакомились, когда учились на первом курсе. Он снимал комнату с двумя товарищами из Бердянска. Мы сговорились, что в следующем семестре снимем её на двоих, будем жить вместе. Так и сделали.

Мы любили театр и часто посещали Александринку. Видели знаменитую Савину, она тогда ещё играла. Потом записались в драматический кружок, которым руководил Бахметьев-Дольский. Спектакли были платные, но мы сами ничего не получали.

В 1909 году летом, Юра настоял на том, чтобы я приехал к нему погостить. Сначала я поехал к маме в Карс, где она была начальницей гимназии. Она захотела навестить свою мать, жившую в Петербурге (мою бабушку Евгению Ивановну), и мы решили ехать из Карса вместе. Мама направилась в Петербург, а я к Юре на один из хуторов Северного Крыма. Вышел из поезда, как сейчас помню, на станции Царёво и был растерян, увидев голую степь. Юра встретил меня вместе с отцом. Он был в соломенной шляпе, лицом совсем не похожий на сына. Я почувствовал холодок и подумал, почему Юра не приехал один, мы бы сразу стали говорить обо всем, что придет в голову, а отец его был мне чужим, при нем я не мог выражать радость, что вижу Юру, его присутствие меня связывало. Юра понял это и, желая утешить, крепко сжал мою руку. Меня разочаровала, голая степь, я не увидел поблизости ни лошади, ни коляски, ни повозки. А ведь знал по рассказам Юры, что от станции Царёво до их хутора верст 60. Юра вновь сжал мою руку и сказал тихо, указывая на камень: «Посиди здесь, пока мы повозимся с мотоциклом. Мы его приобрели, чтобы скорее добираться до дома». К счастью, возня с мотоциклом была не долгой.

– Миша, – радостно воскликнул Юра, садясь в кресло, – оказывается, всё в порядке. Мы просто не привыкли к этой игрушке – и, нажимая не на тот рычажок, думали, что она испорчена.

Отец Юры сел за руль, а мы поместились в коляске. Видя, что я разочарован, Юра пытался меня утешить:

– Скоро ландшафт изменится. Доедем до следующего хутора. Это недалеко. Папа там сойдёт. Он должен навестить своего друга фельд-  
шера. А я сяду за руль и довезу тебя до нашего дома.

Мы еще не доехали до хутора, как мотоцикл остановился. Я спросил Юру:

– Испортился?

Юра засмеялся:

– Нет, отец увидел друга и остановил машину. Вот он идёт навстречу.

Это был высокий брюнет с правильными чертами лица и с бородой, а-ля Александр III, с умными живыми глазами. Нас познакомили. Он мне понравился больше отца Ясницкого. Юра сказал, что просит простить его, он должен с отцом пройти на четверть часа на хутор. Я не возражал. Фельдшер сел на мотоцикл, и у нас неожиданно для меня произошла довольно странная беседа.

– Вы давно дружите с Юрой? – спросил он.

– Несколько лет. Это мой самый лучший друг.

– А вы встречали его друга «папку», как его называет Юра и его друзья?

– Конечно, – ответил я. – Этого грека я хорошо знаю.

– Почему грек? – удивлённо спросил он. – «Папка» настоящий татарин.

Я ответил:

– Мама меня с детства воспитала так, что для меня «национального вопроса» не существует.

Фельдшер улыбнулся:

– Русский интеллигент всегда был интернационалист. Грек или татарин – это не имеет значения. Но это не означает, что татарин должен называть себя греком, а грек – себя татарином, но дело не в этом. «Папка» говорил мне не раз, что он любит Юру, как любят женщину.

Я был изумлён, но ответил, что «папка» (татарин или грек) русским языком владеет хуже всех «инородцев», с которыми мне приходилось встречаться, и эта фраза означает плохо выраженную мысль.

– Вы говорите так, будто считаете преступлением, если мужчина любит мужчину, как другие мужчины любят женщин. Эту любовь в культурных странах не считают преступлением, ибо медициной установлено, что если человек рождается глухим, то его не считают преступником, так же нельзя и это считать преступлением. Это поняли все культурные правители, кроме наших варварских самодержавных.

– Я не оправдываю варварские законы, но уверен, что Юра никогда не согласится от товарищеской дружбы перейти к мужской любви, ибо он любитель женщин, а не мужчин. Я жил с ним долгое время, и от меня он не скрывал своего увлечения женским полом.

– Не думайте, – улыбаясь, сказал фельдшер, – что я хочу вам внушить, что Юра «живёт с папкой», я просто рассказываю, что мне говорил «папка», а в чужие чувства никогда не вмешиваюсь.

Разговор наш прервался возвращением Юры и его отца, который сказал своему другу фельдшеру, что его срочно просят зайти к больному, живущему почти рядом, и что он останется с ним, а Юра отвезёт меня домой, где нас ждала его мать. Меня это удивило, но я ничего не сказал. Юра начал заводить свою «игрушку». Она некоторое время фыркала, но потом покорилась.

– Ну вот, – сказал Юра, – наконец мы одни и сможем наговориться. Мы ни одного слова не сказали ещё, а в Петербурге болтали целыми днями.

– В Петербурге мы были одни или с друзьями, а здесь мы совершенно в другой обстановке.

– Ну, ничего, – сказал Юра, – у нас ещё много времени.

На мотоцикле я почувствовал себя усталым, и Юра посоветовал мне подремать. Я заснул и проснулся, когда приехали к нему домой.

На крыльце нас встретила его мать и позвала в столовую, накормила вкусным обедом. После Прасковья Егоровна сказала Юре, чтобы он приготовил мне постель и я смог отдохнуть. Я не отказался и проспал часа четыре. Когда проснулся, в столовой кипел самовар. После чая Прасковья Егоровна пригласила меня в свою комнату поговорить о Юре. Он был её единственным сыном, которого она боготворила. Она мне очень понравилась своей непосредственностью и простотой. После нескольких фраз, как мне ехалось, перешла на расспросы, как себя ведёт Юра в Петербурге, правда, делала это не прямо. По-видимому, она осталась довольна ответами, и мы расстались до завтрашнего дня почти что друзьями.

Юра приготовил мне постель в соседней комнате. Я обратил внимание на то, что простыни были раза в два шире обычного, и смысл этого понял, когда он положил на тюфяк одну простыню, а не две, как это принято. В неё предстояло «заворачиваться». И ещё меня удивило, что себе он постлал прямо на полу, прикрывшись тонким ковриком. Тут я не выдержал и хотел спросить, в чём дело, но не успел. Он сказал:

– У нас нет второй кушетки, и я привык спать на полу.

– Но в Петербурге ты никогда не спал на полу.

Он засмеялся:

– Петербург – столица, а здесь – захолустье.

Я сказал, что лучше я буду спать на полу, но он ответил:

– За кого ты меня считаешь? Я лягу на кушетку, а гостя положу на пол?!

Я не стал спорить, «завернулся в простынь» и заснул. Утром, когда проснулся, Юры не было, но я слышал, как он раздувает самовар в соседней комнате. Отца его тоже не было дома, он вставал ещё раньше. Мать возилась на кухне.

После чая Юра сказал:

– Ну вот, теперь мы пойдём гулять. Покажу окрестности нашего хутора.

В это время вошёл отец и, поздоровавшись, сказал Юре, что его помощь по хозяйству очень нужна. Юра был раздосадован, но согласился, а мне дал мимический знак: «Ничего не поделаешь». Потом обернулся и сказал:

– Через два часа я вернусь.

Мать Юры была свидетельницей этой сцены и меня утешила тем, что хозяйственные дела на днях будут закончены. Чтобы я не скучал, дала пачку журналов «Нива» за 1909 год, но я предпочёл закончить вчерашнюю беседу. Мать Юры нравилась мне всё больше и больше. Она была удивительно тактична. С ней можно было говорить о чём угодно и услышать ответы благоразумные и прямые. О жизни в Петербурге она уже не спрашивала, понимая, что мы друзья настоящие, не случайные.

Время быстро пролетело в беседе, и я не заметил, как Юра вернулся.

– Мама, я отнимаю у тебя Мишу, мы пойдём осматривать наше «имение».

Прошло недели три после моего приезда. Мы хорошо отдохнули от «столичной суматохи», и я начал думать о билете в Петербург, где меня ждала мама, остановившаяся у бабушки Евгении Ивановны.

За несколько дней до отъезда произошёл интересный эпизод. Я упоминал, что Юра спал на тюфяке на полу, а я на кушетке. В тот вечер мы легли часов в 12. Проснувшись утром, я был удивлён, что Юра ещё не встал, он всегда просыпался раньше, и я решил над ним подшутить. Выкатываюсь из двойной простыни в одних трусах, осторожно подхожу к его тюфяку и сдергиваю простынь. Каково же было моё изумление, когда вместо Юры я вижу человека огромного, чуть ли не великана. Решаю перешагнуть через него и выйти из комнаты, чтобы узнать у Юры, «что сие означает», но вспоминаю, что на мне одни трусы, и возвращаюсь к кушетке, чтобы надеть брюки, но когда я перешагивал через «великана» второй раз, он проснулся и сказал:

– А где же Юра?

Я растерялся:

– А вы кто будете?

– Вы меня не узнаёте? – он, поднял голову.

– Николай Александрович, – воскликнул я. – Вот не ожидал, что вы вместо Юры.

Фельдшер засмеялся:

– Я задержался на вашем хуторе у больного и решил переночевать у Ясницких, но когда зашёл, то никого не было дома. Я решил лечь на тюфяк, на котором спит Юра. Если вы не торопитесь, подождём их и поболтаем, – он подвинулся на тюфяке, чтобы дать мне место.

Я лёг.

В это время раздался голос Юры, и через минуту он вошёл, держа в руке маленький пакетик.

– Вот, – обратился он ко мне, – если бы все быстро исполняли свои желания, было бы счастье. – И он протянул мне пакетик, в котором находились железнодорожный билет, плацкарта и ещё какие-то бумаги.

Фельдшер спросил:

– Почему вы не едете вместе?

– Потому что Мише надоело наше захолустье. Я шучу. Миша договорился со матерью встретиться в Петербурге до начала занятий в университете, так как она 1 сентября должна быть в Карсе.

15 августа я покинул гостеприимный дом Юры. Он проводил меня и проехал со мной две станции.

У меня сохранилась афиша любительского спектакля в г. Елисаветполе «Гаудеамус» по пьесе Леонида Андреева, где я исполнял роль старого студента, а В.А. Мочалова играла Дину Штерн.

**П Р О Г Р А М М А.**

Г. ЕЛИСАВЕТПОЛЬ

Помещение Общественного Собрания

В пользу недостаточных

СТУДЕНТОВ – ЕЛИСАВЕПОЛЬЦЕВ

12 Января в Татьянин день

У С Т Р А И В А Е Т С Я

ТРАДИЦИОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Представлено будет

**Г А У Д Е А М У С**

Новая пьеса в 4-х действиях **Леонида Андреева**.

Оригинальное mise-en-scene постановки П.Д. Смирнова.

Участвуют лица:

1. Старый студент………………………. М.А. Ковалев

2. Дина Штерн…………………………… В.А. Мочалова

3. Онуфрий……………………………….. П.А. Смирнов

4. Тенор…………………………………… С.Н. Сирин

5. Козлов………………………………….. В.С. Скробецкий

6. Гриневич………………………………...С.С. Терентьев

7. Кочетов………………………………….Г.Н. Мелик-Шахназаров

8. Костик…………………………………...Ю.П. Соловьев

9. Стамескин……………………………….К.Д. Андреев

10. Лилия…………………………………...Т.К. Вяземцева

11. Онучина……………………………… С.А. Остапенко

12. Гимназистка…………………………….Е.М. Шахназарова

13. Капитон, слуга меблированных № №...А.М. Миронченко

**Режиссер С.А. Остапенко**

**ПО ОКОНЧАНИИ СПЕКТАКЛЯ**

**Б А Л**

Котильон, бой цветов, конфетти, серпантин, летучая почта.

Зал будет роскошно декорирован. Роскошный буфет.

Стильные киоски. Электрическое освещение.

Будет играть Оркестр Пластунского баталиона.

Хозяйка вечера Кн. А.С. Оболенская

Ответственная распорядительница М.Е. Чернец

Печ. Разр. Тип. А. Гаджи-Гасанова в Елисаветполе.

В тот год я приезжал на рождественские каникулы к моему дяде Жоржу. Он был уже женат на разведённой с прежним мужем Ольге Александровне (фамилию её первого мужа я забыл).

Семья эта состояла из дочери дяди Жоржа и Ольги Александровны –   
Тамары и дочери от первого брака Адриены, которую все называли Ниной.

Дядя Жорж был на посту елизаветпольского губернатора. До этого он служил, как я уже упоминал, тифлисским полицмейстером, а после покушения на его жизнь эсера Херхеульда вице-губернатором Эриванской губернии. На этой должности пребывал не больше года и был назначен губернатором Елизаветпольской губернии.

Я очень подружился с В.А. Мочаловой. Она знала, что я племянник губернатора и что я сочувствую революции. И вот как-то после спектакля, который прошёл очень удачно, она заговорила со мной на языке, незнакомом мне. В первый момент я принял его за немецкий. Оказалось, она говорила на еврейском языке. Потом выяснилось, что она думала, что я племянник не дяди Жоржа, а его жены, которую она приняла за еврейку, хотя та выдавала себя за француженку. Но даже после того, когда поняла, что я племянник не Ольги Александровны, а дяди Жоржа, сказала, что не верит, что я не еврей, хотя и знает, что по паспорту я русский.

Петербург 1911 года. Не помню, когда и при каких обстоятельствах моя мама познакомилась с французской семьёй мадам Дозе и её дочерьми. Но помню хорошо, что получил от мамы письмо, в котором она просила зайти к ней. Я исполнил просьбу мамы и навестил эту семью, возглавляемую матерью (отца не было, он или умер, или оставил их).

Меня приняли очень тепло и просили бывать почаще.

Через недели две-три мадам Дозе пригласила меня и сказала:

– Миша, вы знаете, как я люблю вашу маму и как хорошо отношусь к вам. У меня есть друг, которому много лет. Он состоит опекуном несовершеннолетней миллионерши и очень боится, что в случае его смерти она попадёт в руки какого-нибудь негодяя. Он поручил мне подыскать порядочного молодого человека, который бы на ней женился.

Я не обиделся на мадам Дозе, но отказался жениться на девушке, которую не знал.

Мадам Дозе была огорчена моим отказом, но просила по-прежнему.

Я не прерывал знакомства с семьёй Дозе, так как дочери были симпатичными, как и их мама. Зная, что по вечерам они всегда дома, приходил к ним без предупреждения. Как-то раз одна из дочерей позвонила мне и попросила прийти в восемь вечера.

Я пришёл и кроме дочерей увидел незнакомую девушку, которая мне очень не понравилась. Только недели через две мадам Дозе созналась, что у ней была девушка, о которой она говорила.

Значительно позже мадам Дозе написала маме письмо, в котором рассказала, что девушка не понравилась мне, но и я ей не понравился, что я еврейского племени, и что мадам Дозе клялась, что я русский.

В 1912 году я завершил образование в Московском университете на юридическом факультете. Последний экзамен был «Церковное право». Экзаменовал профессор Георгиевский. Этот экзамен был, в сущности, проформой, ибо в течение 30 лет Георгиевский ни разу не «срезал» ни одного студента. Но рекорд «безграмотности» побил один из выпускников.   
Отвечая на вопрос про тройное родство, он без малейших колебаний ответил: «Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой». Едва произнёс эту фразу, как раздался хохот всех бывших в аудитории студентов.

Не помню, о чём меня спрашивал Георгиевский, но я получил, как и все студенты, «удовлетворительно». «Хорошо» почти никому не ставили. Осмеянный студент тоже получил «удовлетворительно». Я жил тогда в Хлебном переулке и помню, что от Арбата до Моховой можно было проехать трамваем. Я был рад, что кончились экзамены и что теперь могу осуществить поездку в Карс к моей матери окружным путём от Ярославля до Царицына по Волге, а от Царицына до Карса по железной дороге. Когда ко мне подошёл контролёр и попросил показать билет, я машинально протянул ему экзаменационную программу. Он посмотрел удивлённо. Я тут же опомнился и протянул билет. Он улыбнулся и спросил:

– Разве евреев заставляют изучать православное церковное право?

Я тоже улыбнулся и ответил:

– Я не еврей, а русский.

– Мне это всё равно, – сказал он и тихо добавил: – от церковного права можно всего ожидать.

Я сидел на палубе парохода, в шезлонге, и читал роман Кнута Гамсуна «Голод». Увлёкся так, что не обращал внимания на пассажиров. Почему-то вспомнил поездку по Волге с Павликом Павловым. Я оторвался от книги, посмотрел вокруг. По берегам возвышались Жигулёвские горы. Ко мне подошёл молодой человек с университетским значком на кителе и сказал:

– Коллега, наша дама, вокруг которой образовался кружок, поручила мне пригласить вас как единственного мужчину, который не обратил внимание ни на её красоту, ни на её туалет.

Пришлось пойти с ним и представиться этой даме. Она была не столько красива, сколько эффектна.

В Саратове пароход стоял долго, и она пригласила меня осмотреть город. Я согласился, и мы совершили на извозчике большую прогулку. В Царицыне её «кружок» распался, и вышло так, что мы оказались в одном поезде. Я должен был сойти в Тифлисе, она – на станции Минеральные Воды, так как направлялась в Кисловодск. Мы ехали в одном вагоне. Половина купе было II класса, а другая половина I класса. Я ехал во втором, а она в первом двухместном купе. Пригласила меня в своё купе, сказав, что это купе «её собственное», так как она взяла два билета. Она была интересной собеседницей, и мне было приятно с ней разговаривать. Она меня уговорила сдать мой билет другому пассажиру и сойти в Минеральных Водах, чтобы ехать с ней в Кисловодск. Дача в Кисловодске у неё была заказана заранее. Я согласился провести несколько дней в Кисловодске, тем более что слышал об этом замечательном курорте много хорошего, но никогда в нём не был. Она была русская, но когда мы сблизились, сказала, что разошлась с мужем, который был так благороден, что согласился на развод. Она дочь богатого русского купца, который её хорошо обеспечил. В интимном разговоре сказала, что получает удовольствие с мужчинами еврейского происхождения. Когда я сказал, что я не еврей, была поражена, но не раскаивалась, что была моей любовницей.

У меня был фимоз. В 1910 году известный хирург Дуранте оперировал меня, и в банях меня принимали за татарина.

Во время гуляния в Кисловодском парке меня встретила одна дама, которая была знакома с моей матерью, и послала ей телеграмму, что я «сошёлся» с женщиной, которая известна в Кисловодске тем, что каждый сезон приезжает с молодыми людьми, и что меня приняли за «альфонса». Получив телеграмму от мамы, чтобы срочно приехать в Карс, показал её. Мы простились дружески и первое время переписывались, а потом, как это часто бывает, уже никогда не встречались.

Разговор с Артуром Федоровичем Циммерманом.

Артур Федорович овдовел в 1916 году. Он так обожал свою жену (мою тетю Женю), что совершенно выбился из колеи. Он был совершенно одинок, так как мать его умерла раньше тёти Жени. Сыновья Петя, Федя, Миша и Сережа были на фронте, а няня Пелагея, жившая с ним, была больна. Кухарка и горничная жили не в его квартире, а рядом. Артур Федорович просил тётю Олю, которая была классной дамой Екатерининского института, переехать к нему. Тётя Оля не хотела терять место и колебалась. Артур Федорович был в отчаянии. Он не мог заснуть, и его измучила бессонница. Тогда он решил предложить тёте Оле положить в банк на её имя сумму, проценты с которой равнялись бы сумме её пенсии. Тётя Оля все же колебалась, но все её друзья и знакомые уговаривали её согласиться. А за этим последовал законный брак. Артур Федорович скончался в конце 1917 года. В завещании он разделил своё имущество (6-этажный дом) и сумму, находящуюся в банке, поровну своим детям и больше всех тёте Оле. В самый разгар отчаяния, после смерти жены и во время колебаний тёти Оли занять её место, Артур Федорович, зная, что я особенно дружен с тётей Олей и что она меня очень любит, вызвал меня по телефону с просьбой немедленно приехать к нему по весьма срочному делу. Я жил тогда на Моховой улице в квартире родителей моего друга Павлика Павлова (он был на фронте). Артур Федорович встретил меня с распростёртыми объятиями. Я никогда не видел его таким возбуждённым, и вдруг он спрашивает:

– Миша, ты русский?

Я был ошеломлён нелепым вопросом и помню хорошо, как у меня замелькали мысли: «Сошёл с ума. Не мог вынести смерти жены». И дальше: «Вот это любовь». И дальше: «Тютчев написал на смерть жены чудесные стихи, но, однако, не сошёл с ума и ещё раз женился. А инженер Циммерман, никогда не читавший ничьих стихов, мысли которого были сугубо материалистическими, потерял рассудок». Но одновременно с этим во мне кипела досада на нелепый вопрос. И я ответил довольно резко:

– Артур Федорович! Это всё равно, что я спросил бы вас: вы немец?

Он растерялся, но сейчас же пришёл в себя и ответил:

– Миша, ты меня не понял, ты же знаешь, что большую часть жизни я пробыл в России и полюбил русских за их добродушие и правдивость. Может быть, я неправильно выразился, но хотел тебя спросить, как мне поступить в деле, которое имеет для меня огромное значение, и начал с того, раз ты русский, ты должен мне дать правдивый ответ.

– Какое дело? – спросил я.

– Ты знаешь, – начал он свою исповедь, – смерть тёти Жени выбила меня из колеи жизни. И если тётя Оля не согласится стать моей женой, то мне остаётся только умереть. Тётя Оля тебя очень любит и ценит, и твоё слово, твои советы могут преодолеть её колебания.

Я понял, в чём дело, и мне стало жаль человека, страдающего так сильно. Я дал обещание поговорить с тётей Олей и выполнил его, хотя уверен, что и без моего совета она вышла бы за него замуж.

С начала Февральской революции я начал выступать в цирке «Модерн» и там познакомился с выступающими лидерами большевиков: Володарским, Луначарским и Коллонтай. Пробовал выступать в цирке Чинизелли, но там властвовал матрос Баткин (правые эсеры), и меня освистали.

25 октября я получил приглашение от парткома Оружейного завода повторить у них лекцию, которую читал в цирке «Модерн». Лекция была назначена на 3 часа дня. Жил я в ту пору на Лахтинской улице Петроградской стороны. До лекции мне надо было повидать родителей моего друга Павлика Павлова, который был на фронте, и я вышел из дома в 10 часов утра. Трамваи ещё ходили. Но на обратном пути, начиная приблизительно с двух часов, весь транспорт остановился, и я шёл пешком с Моховой улицы, на которой жили Павловы, до Троицкого моста, чтобы пройти его и прийти вовремя на Оружейный завод. Но, к моему удивлению, патруль, перешедший на сторону большевиков, потребовал от меня паспорт, чтобы убедиться, что я живу на Петроградской стороне. Паспорта с собой у меня не было, и я показал письменное приглашение Оружейного завода прочесть лекцию в 3 часа дня. Солдат сказал, что на завод я всё равно не попаду, потому что он окутан дымом и там, вероятно, пожар. Другой солдат насмешливо произнёс:

– Там, вероятно, орудуют ваши евреи: Либер, Дан и Гоц.

Я опешил:

– Почему они мои, если я сочувствую большевикам?

В это время человек в штатском с красной повязкой на руке, прислушиваясь к нашему разговору и видя в моей руке письмо завода, подошёл ближе, прочёл его и сердито сказал солдатам:

– Не болтайте ерунды, а вы, товарищ, если вы не боитесь утонуть, проходите. Видите, мост разобран.

Я ответил:

– Прекрасно вижу, что он разобран, вижу, как люди спокойно проходят по льду, – в этот момент какой-то человек чуть не провалился в трещину, но его тотчас же вытащили.

Я подумал: если человек чуть не провалился, это не означает, что надо отказаться, кроме того, я был одет не очень тепло и чувствовал, что если не попаду домой, то получу воспаление лёгких. И с трудом, но всё же перешёл на тот берег и добрался до дома.

25 октября я встретил на Лахтинской матроса, который был, как он сказал, на моей лекции на Оружейном заводе и попросил у меня ночлега, так как живёт далеко, а на рассвете должен быть в районе Зимнего дворца. Я устроил его у себя. У него был маленький фотоаппарат. Он попросил моего племянника снять нас, и у меня сохранился этот снимок. Гораздо позже я узнал, что первый выстрел с «Авроры» был сделан им.

В ноябре 1917 года я организовал в здании Армии и Флота на Литейном проспекте митинг «Интеллигенция и народ». Буржуазные газеты встретили его в штыки. На нём под председательством А.В. Луначарского согласились выступить поэты Александр Блок и Сергей Есенин, художник К. Петров-Водкин, режиссёр Всеволод Мейерхольд и другие. Несмотря на то что была вьюга и не ходили трамваи, зал был переполнен.

Месяц тому назад отмечалось 7-летие со дня смерти Льва Толстого. И когда я в своей речи сказал, упрекая интеллигенцию в том, что она саботирует Советскую власть, что уверен, что если бы Толстой дожил до наших дней, он бы приветствовал Октябрьскую революцию, хулиганствующие подняли гвалт, но большая часть публики их угомонила. Некоторые покинули зал. Я сказал о Толстом неслучайно, вспомнил, как в день его смерти студенты Петербургского университета устроили демонстрацию на Невском проспекте и я и мой друг Юра Ясницкий чуть не стали жертвами казачьих нагаек. Петербургский градоначальник получил приказание разогнать «бунтовавших студентов». И я действительно уверен, что будь Толстой жив, он был бы на стороне Советской власти. На другой день петроградская газета «Вечерний час» опубликовала статью С. Ипполитова «Несостоявшееся “Сретение”».

Привожу ее полностью:

В зале Армии и Флота на вчера был назначен митинг на тему «Интеллигенция и народ». Рядом с именами А.В. Луначарского, М.А. Спиридоновой, Камкова и Коллонтай на афише красовались имена художника Петрова-Водкина и поэтов Ал. Блока, Сергея Есенина и Рюрика Ивнева.

Из простого сопоставления имен становится ясно, что в зале Армии и Флота готовится торжество, еще более знаменательное и пышное, чем то» какое было инсценировано в Зимнем Дворце г.г. Луначарским и Ясинским и названное первым «сретением».

На этот раз, очевидно, готовилось «сретение» коллективное и, притом, в публичной обстановке.

Естественно, что публика проявила наивысший интерес и ломилась в зал.

У касс образовался длинный хвост, а в зале, битком набитом, царил самый идеальный «революционный порядок», то есть полный хаос.

После томительно долгого ожидания, наконец, в зале появился г. Луначарский.

Несмотря на то что у г. Луначарского по части «сретения» литераторов необыкновенно легкая рука, никто из возвещенных на афише участников митинга за ним не последовал.

Публика стала выражать явное нетерпение. Г. Луначарскому пришлось объясниться.

Оказалось, что митинг организовал не он, г. Луначарский, а какие-то неизвестные личности, которые поспешили скрыться, как только закрылась касса.

Посредником между ним, Луначарским, и неизвестным лицом послужил Рюрик Ивнев, «кристальная», по определению г. Луначарского, личность.

Но на митинге одинаково блистали своим отсутствием как темные личности, так и «кристальная» личность.

Публике оставалось удовлетвориться одним г. Луначарским.

Председательствование на митинге взял на себя председатель организационной комиссии, «социализирующей» здание Армии и Флота в рабоче-крестьянский дом, – чахлый юноша в спортсменской кепке.

Он, очевидно подражая спикеру английской палаты общин, так и не снял своего кепи, несмотря на протесты и требования публики…

Г. Луначарский говорил два часа кряду.

К концу речи г. Луначарского, в 11 часов вечера, появился г. Рюрик Ивнев.

Это болезненный истеричный юноша, говорящий нараспев и с напыщенным декламаторским пафосом.

Для характеристики его «поэтического» доклада достаточно привести следующее элегическое признание: будучи противником репрессий против печати, он, однако, часто со скорбью думает: почему Совет Народных Комиссаров совсем не задушит этой мерзкой печати.

Г. Рюрик Ивнев, между прочим, по доверенности сообщил, что Ал. Блок весьма удовлетворен «октябрьским переворотом», однако от выступлений на митингах отказывается.

За г. Рюриком Ивневым, как передавали, выступила г-жа Спиридонова. И я ушел.

Было ясно, что «сретение» не состоялось.

Ибо даже А.В. Луначарский не назовет обращения «кристаллического» Ивнева и его скорбные размышления о печати – «сретением».

Хочу описать один эпизод, который никогда ещё не был опубликован. В 1918 году Есенина, Мариенгофа, Шершеневича и меня пригласили выступить в клубе Наркоминдела. Есенин очень обрадовался и, отменив своё выступление в каком-то другом клубе, уговорил нас приехать в клуб Наркоминдела:

– Это будет очень интересно. Увидим Чичерина. Про него говорят, что он работает в наркомате по ночам, а днём спит.

Никто из нас этого не опроверг, это было действительно так, и все об этом знали, но мы не были уверены, что Чичерин придёт слушать стихи, а Есенин был почему-то уверен.

Заговорили о костюмах, галстуках, лакированных ботинках. Я не одобрял этот «маскарад» и на вопрос Есенина, в каком пиджаке я пойду, ответил, что в том, в каком хожу всегда.

– Но там будут дипломаты? Они в смокингах. Нельзя являться в мятом пиджаке.

– Мой пиджак не мятый, – начал было я, но он меня перебил:

– Одевайся, как хочешь, хоть в трико, смеяться будут над тобой.

Мариенгоф и Шершеневич нарядились в лучшие костюмы и самые элегантные, по их мнению, галстуки. Спорили о том, какие стихи читать. Сергей и Анатолий предлагали читать стихи, которые ругала тогдашняя пресса.

Наконец, долгожданный вечер. Мы собрались и пошли пешком на Кузнецкий мост, где помещалось здание Наркоминдела. Как только вошли в раздевалку, в глаза бросилась какая-то мелкая суета. Перед нами проходили, как театральные статисты, молодые люди, похожие на официантов и парикмахеров, и мужчины и девушки, которым не хватало накидок, до того они были похожи на горничных. Больше всех растерялся Есенин, он оглядывался по сторонам, как заблудившийся в лесу ребёнок. Лицо Мариенгофа заметно побледнело. Шершеневич прошептал удивляясь:

– Может быть, мы вошли не в тот подъезд?

– Нас разыграл кто-то, – ответил Анатолий, криво улыбаясь.

В это время Шершеневич остановил молодого человека:

– Скажите, пожалуйста, как войти в клуб Наркоминдела?

– Вы находитесь в нём.

– Позвольте, но как же наш вечер…

– Вы что, артисты? Вон висит афиша.

– Какие там артисты, – раздражённо сказал Шершеневич. – Мы поэты, которых пригласил Чичерин.

– Сам Чичерин? – удивленно переспросил он. – Вам надо ехать на Софийскую набережную. Там они и собираются.

В это время к нам подошла пышная особа и вежливо сказала:

– Не слушайте этого дурака… Я секретарь месткома, и это моя инициатива вас пригласить. Пойдёмте наверх, там разденетесь и чайку попьёте, если хотите.

Мы молча пошли за ней. Есенин хмурился. Мариенгоф смотрел нарочито весело, а Шершеневич ехидно улыбался. Сергей имел такой вид, будто вместо бокала шампанского ему предложили стакан киселя. Но делать было нечего. Когда Есенин начал читать стихи, аудитория встретила его так тепло и радушно, что он забыл, перед кем читает: перед самим Чичериным или простыми людьми. Мариенгоф и Шершеневич вошли в свою колею и перестали дрожать.

На другой день Есенин, улыбаясь, сказал:

– Когда ждёшь чего-то особенного, а получается обычное, это обычное кажется смешным и наивным.

Я ответил:

– Нельзя судить об аудитории по двум или трём персонажам, бросающимся в глаза. Французы говорят, что от великого до смешного один шаг, но я не знаю, сколько километров от смешного до великого.

Осенью 1927 года, выезжая из Петропавловска-на-Камчатке, я оказался в Японии по транзитной визе Петропавловского исполкома. Секретарь исполкома дал мне письмо к нашему консулу. В это время здесь гастролировал известный скрипач Эрдени. Торговым представителем был тогда Третьяков, который принял меня очень радушно и посоветовал осмотреть семь маленьких городов, расположенных на полуострове Хоккайдо, которые он называл «семью красотами» Северной Японии.

Консул оказался поклонником Сергея Есенина, и на этой почве мы с ним сблизились. Он познакомил меня одним негоциантом еврейской национальности, эмигрировавшим в Японию из России ещё до русской революции 1905 года. Он был как бы посредником между консулом и торговыми фирмами. С первых слов он стал восхищаться не моими стихами, а моей любовью к путешествиям, сказал, что я ему очень понравился, что он проникся ко мне симпатией, так как я «вылитый портрет» его племянника, живущего в Москве, и когда он говорит со мной, ему кажется, что перед ним он.

Я спросил:

– Если вы так любите вашего племянника, почему вы не выпишете его к себе в Японию?

– Беда в том, – ответил он, – что мой племянник – большевик.

Я засмеялся.

– По-моему, это не беда, а счастье: он понял, что спасти Россию от развала могут только большевики.

Негоциант поинтересовался:

– Вы тоже большевик? А я хотел просить вас повидать его и убедить приехать ко мне навсегда.

– Я не большевик, – ответил я, – но стою за большевиков с первого дня Октябрьской революции.

Консул (его фамилия была Ломакин) засмеялся:

– Яков Лазаревич, но ведь и я большевик.

Негоциант ответил смеясь:

– Если бы я был против большевиков, то не торговал бы с ними. А племянника я хочу вызвать из Москвы, если там станет одним большевиком меньше, Москва не пострадает.

Я остановился в живописной японской гостинице, на самом берегу залива. Осень 1927 года была на редкость тёплой, и я наслаждался красотой, созданной лучшим художником – природой. Утром ездил в автобусе в центр в облюбованное мною кафе. Со мной был словарь для разговора на японском языке. В нём были собраны фразы, которые произносили туристы и путешественники. Например: «Дайте мне чашку кофе», «Сколько я должен заплатить?», «Как пройти на пристань» и т. д. Рядом с русскими словами русскими буквами были напечатаны японские фразы. С одной из подавальщиц мы «подружились» и часто задавали друг другу вопросы типа:

– Вы замужем? Любите своего мужа?

Однажды она спросила:

– Какой вы национальности?

– Русский.

Она взяла мой справочник и долго что-то искала. Потом жестами объяснила, что нужную фразу не нашла. Один из посетителей пришёл к нам на помощь. Он знал хорошо оба языка. Он сказал:

– Она говорит, что не верит вам.

Я попросил спросить почему.

Поговорив с ней, он ответил:

– Она сказала, что вы еврей.

Я засмеялся и попросил передать, что многие не верят, что я русский. Меня принимают за грузина, но чаще за еврея.

Он перевёл.

Она засмеялась и сказала, что я скрываю, что я еврей.

Я ответил, что она говорит глупость. Я люблю евреев, и у меня много друзей еврейской национальности, и что если бы я был евреем, то никогда этого бы не скрывал.

Он перевёл:

– Она говорит, что слышала от русских, что в России очень не любят евреев, и поэтому неудивительно, что многие евреи скрывают свою национальность.

– Это было до Октябрьской революции, – ответил я, – и то только в небольшой прослойке общества. Русская интеллигенция интернациональна.

Она сказала через переводчика:

– Если я вас обидела, прошу прощения.

Я засмеялся:

– Скажите, что я её прощаю, если она будет всегда угощать меня таким вкусным кофе.

На этом закончился наш «русско-японский разговор». Позже я узнал, что мой переводчик был одним из русских сектантов, эмигрировавших из России за несколько месяцев до начала Первой мировой войны.

Через несколько дней Яков Лазаревич сказал, что консул Ломакин хочет преподнести мне «сюрприз» – поездку в Токио. Так как у меня только транзитная виза, а для посещения Токио нужен заграничный паспорт, он просил губернатора Хакодатского полуострова в виде исключения разрешить мне поездку в столицу хотя бы на две недели, на что получил вежливый отказ. Он не имеет права разрешать поездку в столицу Японии никому без заграничного паспорта, а дать его могут только токийские власти. Я заинтересовался и зашёл к Ломакину. Он принял меня, очень любезно и сказал:

– Быть в Японии и не видеть её столицы – всё равно что быть в России и не видеть Москвы, поэтому я дам вам совет: обратитесь к русским эмигрантам, приехавшим сюда до 1905 года. У нас в Хакодате острят: в японском городе нет японских богачей, но есть два миллионера – еврей и русский. С Ян Зе вы уже знакомы, а с русским миллионером вам надо встретиться, он, в отличие от Ян Зе, который занимается торговлей, связан с токийскими издательствами, там у него прочные связи. И что не может сделать губернатор, легко сделает Егор Иванович Фомин. Я говорил с ним. Он просит вас зайти, – и Ломакин притянул мне листок пергаментной бумаги с его адресом.

Фомин жил в живописной части города в небольшом, но весьма комфортабельном доме. Когда я дёрнул шнур звонка, раздался такой свирепый собачий лай, что я невольно вздрогнул. Наконец, собака угомонилась, и меня впустили. Хозяин напомнил мне молоканина, которого я в детстве видел в Карсе. У него были правильные черты лица и не одной морщины, несмотря на солидный возраст, холодные голубовато-серые глаза. Он сидел за небольшим письменным столом, заваленным русскими книгами.

– В стихах я ничего не понимаю, – сказал он без всяких предисловий и пододвинул несколько маленьких книжек моего «Самосожжения». А роман ваш «Любовь без любви», изданный в 1925 году с предисловием профессора Сакулина мне понравился. Я его получил из Москвы сейчас же после выхода в свет. Мне сказал Ломакин, что вы написали на Камчатке ещё одно произведение, а в Петрограде в издательстве «Мысль» выходит ваш роман «Открытый дом».

Я подтвердил его слова.

– Эту трилогию я хотел бы видеть изданной на японском языке. В связи с этим попытаюсь устроить вам поездку в Токио.

Я предупредил, что за роман «Открытый дом» ещё не получал гонорара.

– В Токио вы получите аванс более солидный, чем в Петрограде, потому вам надлежит представить мне рукопись третьего романа.

Я был удивлён предложением издать трилогию, прочитав только первую книгу. Он почувствовал моё недоумение и сказал:

– Мне достаточно прочесть несколько строк, чтобы определить творчество любого писателя, но только прозу, а не стихи. Помните, что писал Лев Толстой о поэзии? «Стихотворцы напоминают мне человека, который вместо того, чтобы идти прямо по комнате, идёт кругами, временами приседая». – После небольшой паузы спросил: – Сколько времени вам понадобится, чтобы представить ваш роман, перепечатанный на машинке?

Я ответил, что если найти хорошую машинистку, это займёт дня три-четыре.

– Машинистку я вам найду. – Прощаясь со мной, вдруг спросил: – Рюрик Ивнев – это ваш псевдоним. А как ваша настоящая фамилия?

– Ковалёв Михаил Александрович, – ответил я и вдруг увидел в его взгляде выражение, которое было у японской официантки в кафе.

Через два дня я пришёл с рукописью романа. Яростный лай собаки никто не угомонил, а когда я, не понимая, в чём дело, продолжал дёргать шнур, маленькое окошечко в двери приоткрылось, и чей-то голос прошептал:

– Не шумите, Егор Иванович серьёзно болен.

– Передайте ему рукопись, которую он просил.

В ответ сдавленный шёпот:

– Егору Ивановичу не до рукописи, он сильно болен. – Окошечко захлопнулось.

Позже я узнал от Ломакина, что Фомин был яростным антисемитом. Если прежнее я понимал, то это нет. Я был далёк от мысли, что Фомин мог так быстро «раздумать», и потому поверил в его болезнь. Через несколько дней пришёл его навестить. На этот раз собака не лаяла, но и окошечко в двери не открывалось.

Я зашёл к Ломакину и спросил:

– Что может означать «внезапная болезнь» издателя?

Он был чем-то расстроен. Я спросил, что случилось? Он посмотрел на меня очень внимательно:

– Михаил Александрович, вы знаете, что я интернационалист не потому, что большевик, я был бы интернационалистом, если бы не был большевиком. Поэтому скажите откровенно, какой вы национальности?

Я был изумлён и ответил:

– Павел Петрович, я говорил вам, что Рюрик Ивнев – мой псевдоним, а настоящая фамилия – Ковалёв.

– Михаил Александрович, вы хорошо знаете, что после Октябрьской революции многие меняли фамилии: Стеклов, Каменев, Зиновьев…

– У меня она со дня моего рождения.

– Ну вот, а я тоже думал, что вы еврей. Значит, вы похожи на еврея. Теперь понятно, что произошло. Фомин – ярый антисемит, но я не ожидал, что он такой яростный и мелочный.

– Если он такой яростный и мелочный, как вы весьма удачно определили, как же он сразу не сказал, что ничем не может помочь в деле издания романа, а вёл такие задушевные и длительные разговоры? Я пришёл к нему не для того, чтобы издавать романы, а чтобы он помог мне получить визу на поездку в Токио.

– Человеческая подлость неизмерима. Я уверен, что с первого взгляда он принял вас за еврея и решил вести любезные и многообещающие разговоры, чтобы вы «упали не с первого этажа», если бы он сразу сказал, что ничем не может помочь. А после всех его обещаний «упасть с пятого этажа» – куда хуже.

– Да, – ответил я, – вы раскусили его подлость. Осталось сказать: век живи, век учись.

Кто-то из знакомых скрипача Эрдени спросил меня после поездки по «Семи красотам»:

– Михаил Александрович, мы с вами осмотрели весь полуостров Хакодате, но в одной части города ещё не были. Это «домики японских гейш». Я бы с удовольствием их осмотрел, но жена будет недовольна, а вам, холостяку, никто не помешает.

И я решил их осмотреть.

Это был довольно большой квартал, вдоль улиц которого висели разноцветные фонарики. У дверей каждого домика стояли зазывалы, и на основных языках мира расхваливали красоты гейш, живших под их кровом. Картина была живописная. Кого только не было здесь, начиная с туристов, желавших не пропустить ни одного квартала, кончая матросами всех национальностей. Через порт Хакодате проходили торговые судна многих стран. Матросы обыкновенно ходили группами по 5–8 человек. Ко мне подошёл однажды русский матрос-одиночка и объяснил, что хочет иметь гейшу, но не знает, как это «оформить». Я сказал, что надо подойти к зазывалам (они умели изъясняться по-русски), но в противоположность другим матросам он был очень робкий, и я решил ему помочь. Мы подошли к одному домику, и я сказал, что матрос хочет провести с гейшей часа два, спросил, сколько он должен заплатить. Назвали цифру японских иен (небольшую) для входа в домик и вторую –   
для свидания. Матрос попросил меня войти в домик вместе с ним, сказал, что заплатит за меня. Я ответил, что заплачу сам. Мы вошли в домик. Там тоже висели фонари. Матрос выбрал самую скромную гейшу. Она посмотрела на меня и произнесла на ломаном русском:

– Вы пойдёте с ним?

Я ответил, что только провожал этого матроса.

– А с кем вы пойдёте? Уже выбрали или нет?

Я попробовал отшутиться и сказал, что не нуждаюсь в гейшах, у меня много любовниц.

– А кто будет платить? – спросила она.

– Тот, кто пойдёт с вами.

Она что-то сказала матросу тихо. Он улыбнулся и передал её слова:

– Попросите его пойти с нами, я собираю деньги, чтобы накопить сумму, которую невеста должна давать жениху в день свадьбы. Простой моряк платит только по ставке, а евреи платят щедро.

Я засмеялся.

– Разве я похож на еврея? – спросил я матроса.

– Не знаю, – ответил он и потупил глаза.

В 1950–1951 годах я снимал комнату у дочери советского посла в Японии. Она жила у своей матери. Вскоре умер её отец, и Галина Нечаева, предпочитая жить одна, купила кооперативную квартиру в самом центре Москвы на улице Горького в доме № 2. Из окна квартиры была видна улица Горького и здание Главного телеграфа. Галина Михайловна была разведена с мужем, и он у неё не бывал. Комната, в которой я временно жил, мне уступил сын Василия Каменского от его первой жены. Однажды, встретив меня на улице Горького, он спросил, доволен ли я его бывшей комнатой. Я ответил, что очень.

Галина вставала утром, когда я ещё спал, и возвращалась домой, когда я ложился спать. Я мог целыми днями работать и мне никто не мешал.

При прощании он просил передать ей сердечный привет. Когда я исполнил его желание, получил неожиданный ответ:

– Он ещё смеет передавать мне привет. И это после того, как я просила его найти другую комнату, – и добавила: – человек он неплохой и вёл себя всегда безукоризненно, но однажды, вернувшись в нетрезвом состоянии, вздумал объясняться мне в любви, пытаясь доказать, что я не буду раскаиваться, если сделаюсь его любовницей.

Она часто уезжала на дачу под Москвой, которую ей купил отец за год до смерти, и я был единственным жильцом её квартиры. Я редко встречал такую хозяйку квартиры, которая была абсолютно нелюбопытной. Комната, которую я снимал, была небольшая, и мои рукописи (их было много, и новых, и старых) лежали на столе и подоконнике, и она ни разу меня не спросила, о чём я пишу и когда они будут опубликованы. Это меня устраивало. Я не люблю таких разговоров. Она смотрела на меня как на удобного «квартиранта».

Я упоминал, что она приходила домой поздно вечером, но изредка устраивала приёмы. И вот однажды ко мне пришёл мой приятель Саша Петухов с бутылкой вина. В этот же вечер к Галине пришла её подруга –   
жгучая брюнетка. Галина объединила наших гостей. Разговор зашёл о моей любимой Грузии. Она сказала, что бывала там и прекрасно понимает меня. Грузия одна из чудесных стран в мире.

– Завидую, что вы родились в Тбилиси.

Я принял её за грузинку и спросил:

– Разве вы не грузинка?

Она ответила:

– Я грузинка, но родилась в Полтаве.

Тем временем Саша успел спуститься вниз и купить две бутылки вина. Галина приготовила закуску. Разговор был обычный, когда встречаются люди малознакомые. Галина и её подруга впервые видели Сашу.

– Хорошо бы выпить кофе, – сказала Тамара.

– Какая досада, – воскликнула Галя, – у меня кончилось кофе, и я забыла его купить.

Саша посмотрел на часы и сорвался с места. Магазин закрывался через двадцать минут. Он ушел. Галя пошла на кухню. Мы остались вдвоём. Тамара приблизилась ко мне и быстро сказала что-то, как мне показалось по-немецки. Я ответил:

– Я понимаю, когда говорят по-французски, а немецкого не помню.

– Как?! Вы не знаете нашего языка?

– Вы разве немка? – спросил я.

Она посмотрела на меня с негодованием и процедила сквозь зубы:

– Вы такой же русский, как я грузинка.

Пришла Галина из кухни, вернулся Саша с пакетом душистого кофе. Тамара больше со мной не разговаривала. После её ухода я рассказал Гале о случившемся. Галина ответила:

– Не обращайте внимания. Я её знаю чуть ли не с детства. Человек она хороший, но со странностями. Она чистокровная еврейка, но почему-то называет себя Тамарой, говоря всем, что она грузинка, и вас она приняла сначала за грузина и побоялась, что вы заговорите с ней по-грузински. Вы действительно немного похожи на грузина. Но я интернационалистка и не обращаю внимания на национальность. Мне это настолько всё равно, что я не спросила вас, русский вы или нет.

– А Саша?

– Саша ярко выраженный русский.

– А я не типично русский?

– Вас можно принять и за грузина, и за армянина, и за еврея. Поэтому не обижайтесь на Тамару. Она долгое время жила в Полтаве. Не знаю, как сейчас, но во времена ее детства украинцы не любили евреев, и отсюда её чудачества. Называет себя Тамарой и выдаёт за грузинку. Да и я, если бы жила в городе, в котором ненавидят русских, тоже скрывала бы свою национальность. Ваш приятель Вася Каменский всё время скрывал, что жена его отца еврейка, и без всякой на то причины, потому что в русском обществе даже до революции никто не интересовался какой кто национальности, а уж в советское время особенно.

1. Шуша – старинный город в Нагорном Карабахе. [↑](#footnote-ref-1)
2. Коняев Н., Коняева М. Русский хронограф. От Николая II до И.В. Сталина. 1894–1953. – М.: Центрполиграф, 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Письма П.А. Столыпина И.И. Воронцову-Дашкову // Красный архив. – 1929. –   
   Т. 3 (34). – С. 187-202. [↑](#footnote-ref-3)
4. «Дашнакцутюн» – одна из старейших армянских политических партий. Создана в 1890 году в Тифлисе. [↑](#footnote-ref-4)
5. «Дифаи» (1905–1920) – секретная организация, сформированная в Елисаветполе для борьбы с армянской партией «Дашнакцутюн». [↑](#footnote-ref-5)
6. Александр Самойлович Ковалёв (?–1894) – был капитаном русской армии и служил помощником военного прокурора Кавказского военно-окружного суда. [↑](#footnote-ref-6)